АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ И Н. Н. СТРАХОВ

Н. А. Горбанев

Н. Н. Страхов вошел в историю русской критики с репутацией ученика Ап. Григорьева. «Верный друг, ученик и талантливый продолжатель Ап. Григорьева» [1], — писал о нем А. Л. Волынский. Эта точка зрения прочно утвердилась в дореволюционных работах [2]. Последователь и ученик Григорьева, его верный адепт, в статьях которого «литературная теория Ап. Григорьева получила свое развитие», — таким обычно предстает Страхов и в современных исследованиях [3].

Сблизившись с Григорьевым в пору сотрудничества в «почвеннических» журналах «Время» и «Эпоха», Страхов впоследствии много сделал для популяризации его наследия. Он опубликовал со своими комментариями оренбургские письма Григорьева, важные для понимания идейной биографии основателя «органической критики», и издал в 1876 г. его сочинения. Он посвятил Григорьеву ряд специальных статей и заметок (1864—1889) и в своих критических работах не раз обращался к его основным идеям. И тем не менее формула «учитель — ученик» не вполне адекватно характеризует соотношение литературно-критических принципов, взглядов и оценок Григорьева и Страхова. Она оставляет в тени немаловажные расхождения между критиками.

Период наибольшего сближения Страхова и Григорьева приходится на время сотрудничества критиков в журналах М. М. и Ф. М. Достоевских. Об этом свидетельствует заметка «Несколько слов о Писемском» (1861), в которой воспроизводилась григорьевская оценка безыдеального реализма этого писателя, статья о романе «Отцы и дети», выражавшая общую точку зрения «почвенников» на тургеневского героя (впоследствии Страхов от нее отречется), и статья-некролог «Н. А. Добролюбов», по концепции (а местами и текстуально) совпадавшая с суждениями Григорьева.

Однако Страхов никогда не называл свою критику органической, что кажется странным для ученика Григорьева и автора «Писем об органической природе». Высказанное недавно предположение о том, что «постоянная приверженность к естествознанию и размышления над сутью органической природы придали принципу органической критики у Страхова дополнительное своеобразие» [4], не подтверждается фактами. Напротив, именно у

Григорьева, а не у Страхова мы находим столь частые уподобления произведений искусства произведениям живой природы, восходящие к натурфилософии и «органической эстетике» Шеллинга [5]. Страхов тоже прошел школу немецкого классического идеализма, но с ориентацией на работы Гегеля. Он не разделял веры «неистового Аполлона» в искусство как высшее и лучшее из земных дел, от которого единственно можно ждать «нового слова», и литературной критикой занимался неохотно, побуждаемый к тому то Григорьевым, то Достоевским. Отсюда же и особое, рационалистическое понимание им органических категорий. Свидетельство этого — одно из ранних выступлений критика: его полемика с Е. Н. Эдельсоном.

В недавнем прошлом соратник Григорьева по «молодой редакции» «Москвитянина» Эдельсон в статье «Идея организма и ее приложение в различных сферах знания» (1860) предостерегал от злоупотребления понятиями «организм» и «органический», выработанными естественными науками, в таких областях, как история, политэкономия и эстетика, где апелляция к ним зачастую подменяет специальные исследования. Как пример продуктивного использования этих понятий и вместе с тем чрезмерного увлечения ими автор приводил статьи Григорьева. «Самый метод критики, прилагаемый им к оценке современных литературных произведений, очевидно превосходит широтою захвата методы наших критиков», — писал Эдельсон, констатируя одновременно, что «его органическая критика, которою он думал исчерпать все содержание предмета» [6], не вполне справилась с этой задачей. Полемизируя с Эдельсоном в статье «Органические категории», Страхов вел речь не столько о природных организмах и их подобиях и аналогах, сколько об органических категориях как продуктах чистой мысли. «Сила так сказать наиболее органическая есть мысль; поэтому лучший образчик организма можно найти в каком-нибудь проявлении мысли, например в логике Гегеля. Движение мысли, то есть жизнь этой логики, есть диалектика и представляет собою органическое развитие» [7]. По логике Страхова, «процесс своего развития ум перенес на природу и на всю область знания», и именно отсюда, из «немецкого идеализма», а не из естествознания, органические категории явились в мир человеческих идей. Эдельсон назвал Григорьева «одним из наиболее глубоких, хотя в то же время и наиболее туманных из современных наших критиков». Страхов возражал, но своими замечаниями о содержании понятия «органическая критика» скорее подтверждал, чем опровергал, мнение оппонента: «Г. Григорьев смотрит на литературу как на живую силу, которою управлять никому не дано, которую нельзя подводить под готовые понятия, но нужно понимать и истолковывать из нее самой»; подобный взгляд способен «дать приемам критики жизненную подвижность» [8]. Увязывая особенности критического метода Григорьева с его общим взглядом на искусство, Страхов ограничивался подобными отвлеченными формулами или истолковывал метод и эстетику критика не совсем адекватно их действительному содержанию.

Еще в молодые годы Страхов «держался обыкновенной немецкой теории свободы художника» [9], и на этой эстетической платформе он остался навсегда. Под его пером эстетика Григорьева — глубокая, сложная и в этом смысле не лишенная туманности — стала приобретать прозрачную ясность и простоту «обыкновенной немецкой теории», утрачивать специфически «григорьевские» черты. Все содержательные «парадоксы органической критики» сводились Страховым к одному знаменателю, именно — к защите принципа самоценности искусства и «свободы художника», которую он в борьбе с демократической критикой доводил до признания формулы «искусства для искусства», которую темпераментно и зло высмеивал Григорьев [10].

Нечто подобное наблюдается и там, где Страхов ведет речь о критической методологии Григорьева. Понимая важность данного вопроса (ибо в критике, как и в других «делах ума», «главная заслуга заключается не столько в результатах, сколько в методе»), Страхов неоднократно предпринимал попытки охарактеризовать «приемы нашего единственного критика», и каждый раз дело сводилось к бессодержательным фразам. Так, во второй статье о «Войне и мире» эти

приемы приравниваются к историко-литературному методу входившего в моду И. Тэна с добавлением положения о том, что «все явления литературы имеют один общий корень, что все они суть частные и временные проявления одного и того же духа»[11]. «Все это очень просто, — заключает Страхов, — эти положения давно стали, особенно у нас, ходячими фразами» (I, 306). Вид «простоты» и «ходячих фраз» идеи Григорьева приобрели именно в страховском изложении.

Следует подчеркнуть: отмеченные упрощения объясняются не только отступлением Страхова от буквы учения Григорьева. В теории и особенно в критической практике Страхов, по сути, игнорировал важнейший принцип и критерий органической критики, который был для Григорьева мерой вещей. Принцип этот — «органичность» явлений (произведений искусства, общественных и умственных течений, теорий и т. д.), критерий — мера жизненности явлений, того, насколько глубоко они уходят своими корнями в национальную (в терминах Григорьева — народную) жизнь, в какой степени являются ее «веяниями» и «голосами». Важность этого принципа для Григорьева заключалась в том, что им определялся адогматизм его критической мысли (вступавшей поэтому нередко в конфликт с почвеннической схемой), склонность и способность критика к диалогу даже с идейными оппонентами (коль скоро их позиция отвечала критерию «органичности») [12]. В этом отношении критический метод Григорьева был сродни художественной методологии Ф. М. Достоевского. Для Страхова такие принципы и критерии были неприемлемы, ибо они ко многому обязывали и связывали его. Воинствующий идеалист и консерватор, он был и как критик откровенно и жестко нормативен. Борьба с Западом и «западниками» (в первую очередь с революционными демократами) с почвеннических позиций была и главной темой его литературных работ, и углом зрения на все явления, и мерилом их оценки.

В идейной борьбе 60-х годов Григорьев и Страхов стояли на позиции почвенничества, которое как общественная программа было одной из либеральных альтернатив революционному решению социального вопроса и находилось в оппозиции к революционным демократам («теоретикам» — по терминологии первого, «западникам» и «нигилистам» — второго). Но у каждого из них (как и у Достоевского) был свой особый «тон» в отношении к демократическому лагерю, тон, который «делал музыку». Тоны эти ощутимо улавливаются, например, при сравнении характеристик, которые давали демократическому направлению Григорьев в статье «Общий взгляд на отношение современной критики к литературе» (1862) и Страхов в работе «Бедность нашей литературы» (1868).

Подходя к «теоретическому лагерю» с критерием «органичности», Григорьев делает вывод о глубокой связи «критического приема» демократов с русским народным характером, с требованиями современной русской жизни. «Он имеет свое важное, даже великое значение, и притом... он, этот прием, вытекает прямо из нашей народной сущности, из свойств самой натуры русского человека. В этом-то и заключается главным образом его сила»[13]. Констатируя, что «в настоящую минуту взгляд теоретиков торжествует и должен торжествовать», почвенник Григорьев объясняет этот факт (и это еще один из «парадоксов органической критики») именно жизненностью позиции революционных демократов: «В торжестве его участвует одна из сторон народного духа, стало быть, все-таки непосредственная жизненная сила»[14]. Следует учесть, что это признания и оценки идейного противника революционных демократов; они окрашены горечью от сознания несостоятельности собственной теории — тем они были ценнее.

Совершенно другими по тону и смыслу были суждения и оценки Страхова. Пафосом всей его литературной деятельности — от первых ее шагов и до «Писем о нигилизме» (1881), вызвавших негодование Л. Н. Толстого, — было «органическое нерасположение к нигилизму», критика его с позиций воинствующего идеализма и консерватизма. Вразрез с мнением учителя Страхов-критик и публицист делает главный акцент на доказательстве беспочвенности «теоретиков», их оторванности от реальной русской жизни и ее проблем. Демократическое движение 60-х годов для него — «воздушная революция», нечто «мираж-

ное», какая-то «фатаморгана», которая рассеялась при первом дуновении «свежего ветра» [15].

Подвергая критике «нигилизм» и пытаясь объяснить причины «происхождения его и силы», Страхов сводит дело к простой и излюбленной схеме: нигилизм «возник под влиянием Запада», более того — «нигилизм есть не что иное, как крайнее западничество» [16], его «основная и здоровая, правильная черта» — отрицание, в ней находят себе исход такие черты русского характера, как «скептицизм, недоверие, отсутствие наивности, бездеятельная, но умная леность» и «глубокий цинизм». Все это, по Страхову, не имеет никакого будущего: «Ужели можно было ждать чего-нибудь нормального и красивого от людей, разорвавших связь со своей историею и народностью?» [17] В то время как Григорьев переживал идейную драму крушения почвеннических иллюзий, Страхов провозгласил: «Славянофилы победили», — а в 1871 г. заявил: «Будущее за нами!» (Лишь в 1881 г. в письме к Л. Н. Толстому он признает, что сам всегда в сущности был почвенником без почвы и что та самая жизнь, от лица которой он обличал «теоретиков», пошла непредвиденным для него освободительным путем, отодвинув его в сторону вместе с другими противниками революционной демократии [18].)

Конкретным выражением различия между двумя критиками может служить их отношение к творчеству Некрасова. Для Григорьева Некрасов (при всех оговорках) — человек и поэт «с народным сердцем» (461, 462), главная причина неоспоримой силы и громадного успеха его творчества — «в органической связи с жизнью, действительностью, народностью» (479). В понятие некрасовской «народности» критик включает — в качестве органического — и элемент протеста, добавляя в статье «Стихотворения Н. Некрасова» (1862) к формуле Н. И. Надеждина «где жизнь, там и поэзия» свой тезис «где поэзия, там и протест» (452). Что касается Страхова, то он в 60—70-е годы занимается развенчанием Некрасова: он упрекает его «за слишком большое усердие, с которым он забавлялся созданием „Жниц", „Орин" и т. п.» [19], отрицает народность некрасовской поэзии, заявляя, что «самые стихи г. Некрасова, в которых так много говорится о народных страданиях, давно уже... признаны не выражающими полного сочувствия народу, не проникнутыми его действительным пониманием», пишет о «противоречии между духом народа и духом г. Некрасова» (II, 120) и, прилагая к поэту мерку теории «искусства для искусства», обвиняет его в том, что «он отдал свою музу в крепостное рабство известным идеям и направлениям» (1, 386). В свете этих фактов невозможно безоговорочно утверждать, что Страхов — ученик Григорьева.

Демократическая критика 60—70-х годов не случайно по-разному относилась к этим двум представителям одного и того же направления. Если деятельность Страхова оценивалась ею однозначно отрицательно, то Григорьеву отводилось особое место в кругу почвенников, в его работах отмечались положительные моменты. «Он чего-то страстно желал, — указывал Д. И. Писарев в 1865 г., — и поэтому он не мог относиться к будущему совершенно враждебно. Это обстоятельство ставило его гораздо выше всех остальных деятелей отживших направлений» [20]. Позднее, в 1876 г., Н. В. Шелгунов замечал: «У Ап. Григорьева было много мыслей, под которыми подписался бы любой из тех, кого Григорьев называл тушинцами и теоретиками» [21].

Репутация Страхова как ученика Григорьева основана в первую очередь на его второй статье о романе «Война и мир». Но эта же работа, пожалуй, как никакая другая выявляет особый характер этого «ученичества».

В упомянутой статье Страхов, во-первых, объявил Григорьева «лучшим нашим критиком, действительным основателем русской критики» (I, 296), во-вторых, приписал ему «единственный существующий у нас полный взгляд на русскую литературу», в основе которого лежало особое понимание творчества позднего Пушкина и послепушкинской литературы, и, в-третьих, нашел в романе «Война и мир» подтверждение как общей историко-литературной концепции Григорьева, так и конкретным суждениям критика об особенностях таланта и мировоззрения молодого Толстого. Все сказанное сводилось Страховым к об-

щему положению: «Открытие значения Белкина в пушкинском творчестве составляет главную заслугу Ап. Григорьева» (I, 293). Свое понимание фигуры Белкина в пушкинском творчестве Григорьев впервые изложил в работе «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859), а подвел итог размышлениям на эту тему в статье «Граф Л. Толстой и его сочинения» (1862). Содержание нравственно-эстетической эволюции Пушкина и — шире — всей послепушкинской литературы Григорьев усматривал в борьбе между идеалами «блестящего, хищного» и «простого, смирного» типов, итогом которой должен быть, с точки зрения критика, лишенный односторонности «синтез» того и другого (прообразом такого синтеза критик считал личность Пушкина). В последних работах критика сильнее подчеркивалась позитивная роль страстно-волевого типа и, соответственно, более сдержанным стало отношение к типу смиренному, белкинскому. На подобной позиции стоит Григорьев и в статье о Толстом.

По мысли критика, современная русская литература должна «узаконить равно два типа — и тип страстный, и тип смирный» (540), как это делал Пушкин, «натура по преимуществу синтетическая». Натура и талант Толстого по преимуществу аналитические. Художник берет тот и другой типы, как правило, в их односторонности. Рассматривая под этим углом зрения творчество молодого Толстого, Григорьев отмечает эту специфическую односторонность. (Оставляем в стороне вопрос о том, насколько суждения критика адекватны действительному содержанию и проблематике произведений писателя — на этот счет в специальной литературе существуют различные мнения[22].) С одной стороны, Толстой «с излишком, через меру дает права» типу «простого и смирного человека» (519), для него характерно «сознание исключительной законности типа простого человека перед блестящим» (526). С другой стороны, он «прав только по отношению к пародии на тип страстного и сильного духом человека, а не по отношению к самому типу» (530) и не прав «потому, что не придает значения блестящему действительно, и страстному действительно, и хищному действительно типу» (529). Пафос статьи — стремление предостеречь писателя от одностороннего увлечения «белкинским» типом, от его поэтизации и героизации. Ибо «Белкин для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего как критическая сторона души... Придать этой стороне души нашей значение исключительное, героическое — значит впасть в другую крайность, ведущую к застою и закиси» (524). «Голос за простое и доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного, — писал критик, — есть, конечно, прекрасный, возвышенный голос, но заслуга его есть только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закись, мещанство» (271). Таково в главных чертах содержание концепции Григорьева.

В интерпретации Страхова григорьевская типология национального характера с ее диалектически сложной и не лишенной реальной глубины антитезой двух начал русской жизни превратилась в упрощенную схему, в которой Белкин выступает в роли пушкинского идеала и положительного героя русской литературы, а тип «хищного», страстно-волевого и сильного духом человека — в качестве героя отрицательного, носителя вненациональных и вненародных начал. По наблюдению С. Г. Бочарова, сопоставившего «оригинал» концепции с его страховским «переводом», григорьевская идея Белкина именно в редакции Страхова стала фактом общественного сознания[23] (и, добавим, до сих пор воспринимается некоторыми исследователями сквозь эту искажающую призму[24]). «Оценку гр. Л. Н. Толстому Страхов дал совершенно самостоятельно и притом до такой степени в духе Григорьева, что, будь тот жив, он обеими руками подписался бы под приговорами своего младшего друга»[25], — писал первый биограф Страхова. Между тем содержание статей о Толстом свидетельствует об обратном: ни духа, ни буквы учителя Страхов в своем разборе «Войны и мира» не сохранил.

В историко-литературном плане заслуги Страхова как критика Толстого бесспорны: он один из первых оценил масштаб «Войны и мира» как явления мировой литературы и связал ее с пушкинской традицией русской ли-

тературы (хотя и понял эту традицию односторонне), охарактеризовал некоторые из важнейших особенностей жанровой природы романа («эпопея в современных формах искусства») и его реализма, наметил правильное решение проблемы соотношения Толстого-художника и Толстого-мыслителя. Однако в том, что касается идейного содержания и смысла романа, толстовской нравственной философии и характерологии, Страхов оказался в плену собственной (а отнюдь не григорьевской) схемы. Он сознательно закрыл глаза на критическое начало «Войны и мира», столь поразившее современников[26], и «непременно хотел видеть в Толстом опору в своей борьбе против идей 60-х годов»[27]. Именно на фоне этой борьбы становятся понятны страховская апология смирения (которое, по замечанию Григорьева, «легко переходит в баранье») и восторги по поводу фигуры Платона Каратаева и т. п. «„Война и мир", эта огромная и пестрая эпопея — что она такое, как не апотеоза смирного русского типа?» (I, 312) — риторически спрашивал критик и сам же отвечал: «Голос за простое и доброе, против ложного и хищного — вот существеннейший, главнейший смысл «Войны и мира» (I, 356). Анализ идейной и образной структуры романа подчинен у него этой схеме, которая, по точному замечанию П. П. Громова, искажает «как смысл историко-литературных идей Ап. Григорьева, так и смысл философско-исторической концепции „Войны и мира"»[28]. Схема эта и именно не в григорьевском, а в страховском варианте — вызвала резкое несогласие Л. Н. Толстого[29].

Были, правда, у Страхова некоторые сомнения и оговорки, вызванные «сопротивлением» материала романа, который не всегда укладывался в заданную схему, но они меркли в свете предвзятой концепции. Именно Каратаев для критика является воплощением русского героизма — «героизм смирения», «душевная красота Каратаева поразительна, выше всякой похвалы» (I, 344). По замечанию Н. Н. Скатова, Платон Каратаев не только не выпадает из страховской «русской формулы героической жизни», «но и в известном смысле сводит ее к себе»[30]. Григорьев как раз и выступал против подобного сведения, когда не соглашался вслед за Толстым признавать «один героизм капитана его (в Кавказских сценах) или, пожалуй, лермонтовского Максим Максимыча»[31]. Отталкиваясь от «героизма смирения», Григорьев утверждал, что Чацкий — «единственное героическое лицо нашей литературы» (503).

Приведенное сопоставление выявляет, на наш взгляд, отчетливую грань между «органической критикой» Ап. Григорьева, его стихийным демократизмом, с одной стороны, и «славянофильской» критикой Страхова (он всегда предпочитал называть себя славянофилом, а не почвенником), его вполне осознанным и последовательным консерватизмом — с другой.

[1] Волынский А. Л. Русские критики. Литературные очерки. — СПб., 1896. — С. 639.

[2] См., например: Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. — СПб., 1896. — С. 55.

[3] См.: Гуральник У. А. Ап. Григорьев и Н. Н. Страхов // Академические школы в русском литературоведении. — М., 1975. — С. 467; Скатов Н. Н. Критика Николая Страхова и некоторые вопросы русской литературы XIX века // Русская литература. — 1982. — № 2. — С. 33.

[4] Скатов Н. Н. Указ. соч. — С. 34.

[5] См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства. — М., 1966. — С. 462.

[6] Библиотека для чтения.— 1860.— № 3. — Отд. II. — С. 24.

[7] Журнал Министерства Народного Просвещения. — 1861. — № 3. — Отд. II. — С. 62.

[8] Там же. — С. 49.

[9] Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. — СПб., 1883. — С. 274.

[10] См.: Григорьев А. Литературная критика. — М., 1967. — С. 115—119, 369, 463. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.

[11] Страхов Н. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. — СПб., 1885. — С. 305—306. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением I; ссылки на издание: Страхов Н. Н. Критические статьи. — Киев, 1902. — Т. II — с обозначением — II.

[12] Пример такого диалога — спор Ап. Григорьева с Добролюбовым о творчестве А. Н. Островского. См.: Марчик А. П. Творчество Островского в оценке Ап. Григорьева // Наследие А. Н. Островского и советская культура. — М., 1974. — С. 147—153; Лебедев А. Драматург перед лицом критики. — М., 1974. — С. 127—145.

[13] Время. — 1862. — № 1. — Отд. II. — С. 132.

[14] Там же. — С. 133.

[15] См.: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. — СПб., 1890. — Кн. 2. — С. 176—208.

[16] Страхов Н. Н. Бедность нашей литературы. — СПб., 1868. — С. 76.

[17] Там же. — С. 52.

[18] См.: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. — СПб., 1914. — С. 276.

[19] Эпоха. — 1864. — № 11. — Отд. II. — С. 1 (Заметки летописца).

[20] Писарев Д. И. Соч. В 4 т. — М., 1956. — Т. 3. — С. 257—258.

[21] Шелгунов Н. В. Литературная критика. — Л., 1974. — С. 346.

[22] Ср.: Громов П. О стиле Льва Толстого. Становление «диалектики души». — Л., 1971. — С.164—166; Емельянов Л. И. Герои Толстого в историко-литературной концепции Аполлона Григорьева // Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. — Л., 1979. — С. 163—167.

[23] См.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. — М., 1974. — С. 133.

[24] См., например: Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. — М., 1978. — С. 97.

[25] Никольский Б. В. Указ. соч. — С. 55.

[26] См.: Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». — Л., 1977. — С. 3—8.

[27] Венгеров С. Страхов// Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон. — СПб., 1901. — Т. XXXIa. — С. 785.

[28] Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». — С. 464.

[29] См. там же. — С. 464—465.

[30] Скатов Н. Н. Указ. соч. — С. 46.

[31] Григорьев А. А. Материалы для биографии. — М., 1917. — С. 215.

Махачкала